

Николай Добролюбов

**Деревенская жизнь помещика
в старые годы**



Николай Александрович Добролюбов

Деревенская жизнь помещика в старые годы

Статья Добролюбова была одной из первых попыток открыто осмыслить явление крепостничества и произнести ему приговор в то время, когда вопрос об отмене крепостного права был еще далек от своего разрешения и, осуждаемое в передовых кругах, оно для многих оставалось естественным и нормальным состоянием. Статья показывает, что своекорыстие и произвол в отношениях с крестьянами определяются не личными качествами отдельных помещиков (жестокостью, невежеством), а всем строем жизни, системой общественных отношений. Сами пороки помещиков есть пороки целого сословия, развращенного праздностью и бесконтрольной властью над крепостными.

Содержание

#1	0005
Примечания	0091

**Николай Александрович
Добролюбов
Деревенская жизнь
помещика в старые годы**

(«Детские годы Багрова-внука», служащие продолжением «Семейной хроники» С. Аксакова. Москва, 1858)

Решаясь говорить о новой книге г. Аксакова, мы прежде всего отстраняем от себя всякое суждение о художественных достоинствах этой книги. Распространяться о них мы считаем излишним по многим причинам, из которых главные состоят в том, что, во-первых, это было бы крайне скучно, а во-вторых, что мы слишком уважаем фактическую правду мемуаров г. Аксакова, чтобы силиться отыскать в них еще правду художественную. Мы согласны, конечно, что и в самых правдивых воспоминаниях может быть много художественных достоинств, состоящих в способе представления предметов и даже в самом изложении. Но кому же было бы интересно следить за нами, если бы мы стали отыскивать подобные достоинства в «Детских годах» г. Аксакова? Ровно два года тому назад все журналы полны были восторженными похвалами художественному таланту г. Аксакова, обнаруженному им в «Семейной хронике»{1}. Авторитет С. Т. Аксакова установился с тех пор незыблемо. Его некоторые поставили главою современной русской литературы{2}, и этому никто не думал противоречить, исклю-

чая г. К. С. Аксакова, который в начале прошлого года, обозревая в «Русской беседе» современную нашу литературу, выразил мнение, диаметрально противоположное взглядам поклонников С. Т. Аксакова. Именно г. К. С. Аксаков объявил, что С. Т. Аксаков не только не есть глава современной русской литературы, но даже вовсе и не принадлежит к ней, а стоит как-то «совершенным особняком»{3}. Должно полагать, впрочем, что и этот, столь неблагоприятный, отзыв вызван был более потребностью сказать и здесь хоть что-нибудь в пику западникам, превозносившим «Семейную хронику», нежели действительным желанием отнять С. Т. Аксакова у современной русской литературы. Как бы то ни было, в последние два года С. Т. Аксаков, по признанию всех своих поклонников, занял бесспорно первое место в ряду русских писателей. Этого мало: художественные достоинства произведений С. Т. Аксакова были так ярки, что обратили внимание многих на нравственные качества самого автора и доставили ему всеобщее уважение уже просто – как человеку, – поразительное доказательство этого

уважения мы видели недавно в студентах Казанского университета, праздновавших свой университетский юбилей{4}. Но еще более разительный пример представили петербургские студенты: задумавши издавать сборник своих ученых трудов, они сочли долгом испросить на это одобрение г. Аксакова и были в великом восторге, когда автор «Семейной хроники» одобрил их намерение издавать ученый сборник{5}. Вскоре после того один студент, писавший в «Молву» письма о том, что он «Молве» очень сочувствует, а петербургских журналов не терпит за то, что они ограничиваются случайными воззрениями своих случайных сотрудников, – этот самый студент от лица всего Петербургского университета называл С. Т. Аксакова другом человечества и русского народа и даже *«мерилом истины и справедливости»*{6}. Все это мы припоминаем затем, чтобы показать, до какой степени велик авторитет С. Т. Аксакова в глазах многочисленных его поклонников. Наш голос ничего не мог бы прибавить к известности автора «Детских годов» – как бы мы ни рассыпались в похвалах им; точно так же,

как бесплодны были бы все наши усилия, если бы мы вздумали доказывать, что новая книга г. Аксакова не имеет таких достоинств, как его прежние воспоминания, Поэтому мы решили, что гораздо благоразумнее будет с нашей стороны – не утомлять читателей подробным анализом художественных совершенств или недостатков «Детских годов». Авторитет г. Аксакова утвердился в общественном мнении, а раз утвердившиеся авторитеты держатся в нем до тех пор, пока не произойдет значительной перемены вообще в понятиях и направлении общества. Восставать же против общего мнения благонамеренная критика может и должна только тогда, когда влияние авторитета оказывается вредным для общества. Но литературная деятельность г. Аксакова так чиста и благородна, что критике остается с радостью принять общий приговор публики. Значение прежних рассказов г. Аксакова было утверждено публикою, она же решит и значение новой его книги. Нам остается сказать немного о содержании «Детских годов»; а потом мы намерены обратить внимание читателей на одну

сторону воспоминаний г. Аксакова[1], особенно нас заинтересовавшую – именно на то, какую является в его рассказах жизнь наших старинных помещиков в их деревнях.

Все воспоминания, находящиеся в «Детских годах», относятся к деревенской жизни помещиков – родных Багрова, в Багрове и Чурасове, и к переездам из одного села в другое. Немного страниц посвящено описанию жизни в Уфе. В изображениях природы и своих личных впечатлений автор отличается той же обстоятельностью, какая заметна была и в прежних его произведениях. Нам кажется даже, что здесь эта обстоятельность выразилась еще более, нежели в прежних произведениях г. Аксакова. Причина этого очень понятна: воспоминания детства всегда живее представляются человеку, нежели воспоминания о последующих годах его жизни. Тем более должно было проявиться это в г. Аксакове, который, как видно из его воспоминаний, всегда отличался более субъективной наблюдательностью, нежели испытующим вниманием в отношении к внешнему миру. Эта субъективная наблюдательность началась в нем

весьма рано. Он рассказывает, что помнит себя, когда отнимали его от кормилицы, и даже несколько раньше. «Я помню себя, – говорит он, – лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачушим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо». Таким простодушно-правдивым характером отличаются все записки о детских годах Багрова, и мы ни на одной странице их не нашли, чтобы автор их усиливался возвысить какую-нибудь художественною прибавкою простую правду своих воспоминаний. Видно, что он безыскусственно поверял бумаге все, что ему рисовала его память, не стесняясь даже тем, что в детской жизни было много моментов, до известной степени повторявших друг друга. Он дорожил каждою подробностью и записывал ее столько раз, сколько раз она припоминалась. Так, много раз описывает он дорогу, уже знакомую читателям, много страниц занимает подробным изображением своих чувств, уже не в первый раз появляющихся-

ся в его душе[2].

Каждый из этих частных моментов, из этих особенных состояний, внесен автором в записки, конечно, потому, что для него самого они имеют все-таки свои оттенки, свои различия, хотя различия эти почти неуловимы для читателя. Но зато тем более доверия внушают рассказы г. Аксакова, тем живее является перед нами эта жизнь, не составленная художественным образом из обломков и лоскутков, а просто изображенная в своей фактической верности. Видно, что автор дорожил всем, что только сохранила его память: много страниц посвящает он описанию кормежек лошадей и ночевок в дороге; на многих страницах изображает свои удочки и уженье, свое засыпание и пробуждение, свои книжки, свои болезни и пр.[3].

В этих шести встречах есть некоторая разница; но она понятна более для автора, нежели для читателя, который, при однообразии общей формы, легко может перемешать их. Если бы С. Т. Аксаков составлял из воспоминаний какое-нибудь художественное целое, то, конечно, он сумел бы, с обыкновенным своим

искусством, избежать всех повторений и ненужных подробностей. Но его рассказ постоянно поражает нас безыскусственной, наивною простотою летописи, и это обстоятельство еще более возвышает в наших глазах значение его записок как несомненного памятника времен минувших. Для того чтобы ярче выставить это значение «Детских годов», мы и останавливаемся несколько на той подробности, с которою автор передает каждый отдельный момент своих детских впечатлений. Для иных из читателей может показаться излишним и утомительным беспрестанное описыванье одной и той же дороги, то весной, то летом, то осенью, то зимою: одного и того же уженья, то на Мёше, то на Деме, то на Белой, то на Бугуруслане. Но мы уверены, что такое мнение может явиться только у тех читателей, которые совершенно несправедливо захотят видеть в «Детских годах» простое произведение легкой литературы. Напротив, кто обратит внимание на историческое значение записок С. Т. Аксакова, тот не посетует на автора за излишнюю растянутость его воспоминаний. Несколько лет тому назад такие же

требования предъявлялись некоторыми по поводу «Записок Болотова», печатавшихся в одном из наших журналов: {7} говорили, что они слишком длинны, и требовали сокращения. Нам тогда еще казались не совсем справедливыми жалобы на растянутость мемуаров, и мы не понимали, как можно сокращать их, по тому уважению, что то или другое может показаться скучным для большинства читателей. Такого рода сокращения можно делать в посредственных драмах для сцены да в легких произведениях беллетристики. Но в истинном историческом повествовании каждая подробность может при случае пригодиться, если не тому, так другому. Например, для людей, специально занимающихся педагогическими вопросами, будут, вероятно, интересны в «Детских годах» многие мелочи, которые могут показаться скучными для охотников и рыболовов; а эти последние, в свою очередь, найдут здесь много частных заметок о птицах и рыбах, лесах, поплавках и удочках – заметок, неинтересных для большинства, но для них, может быть, очень важных. Точно так – для врачей могут быть не лише-

ны любопытства многие подробности о болезнях и о нервных раздражениях Сережи, для психологов – его субъективные наблюдения, для историков литературы – замечания о книжках, какие он читал и какие были тогда в ходу, и пр., и пр. Так точно для нас показались особенно интересными те части воспоминаний, в которых рисуется деревенская жизнь наших старинных помещиков, и мы весьма благодарны автору, что он не скрывал и не сокращал ничего в тех фактах, которые сохранились в его памяти. Мы даже сожалели, что нашли в книге г. Аксакова менее подробностей об этом предмете, нежели сколько ожидали, судя по тому, что детские годы Багрова проходят среди тех людей, воспоминания о которых доставили г. Аксакову такой богатый материал для создания некоторых типов «Семейной хроники». Скучность изображений, относящихся к жизни людей, окружавших ребенка, объясняется, впрочем, весьма удовлетворительно, отчасти тем, что в этой жизни не было почти ничего резкого и поражающего, отчасти же особенностями личного характера автора. По природе своей

и по первоначальному воспитанию, под влиянием матери, с которой, конечно, хорошо знакомы читатели «Семейной хроники», автор вовсе не принадлежал к числу детей, рано втягивающихся в практическую жизнь и с первых дней жизни изостряющих все свои способности для живого и пытливого наблюдения ее явлений. Круг интересов маленького Сережи долгое время был ограничен только миром внутреннего чувства, и из внешнего мира он обращал внимание только на то, какое ощущение – приятное или неприятное – производили на него предметы. Восхищение приятными предметами и отвращение от неприятных, доходящее часто до нервической болезни, выражается везде у автора весьма ярко. Но пытливого вопроса, склонности к работе мысли почти вовсе не заметно, точно так, как и в позднейших воспоминаниях автора из периода гимназии. Несколько раз, правда, уклонения от логики, естественной каждому человеку и еще не поврежденной в ребенке, вызывают и его на размышление и вопрос. Например, когда мать Сережи упрашивала его отца сменить

старосту Мироныча в селе, принадлежащем их тетушке, за то, что он обременяет крестьян, и, между прочим, одного больного старика, и когда отец говорил ей, что этого нельзя сделать, потому что Мироныч – родня Михайлушке, а Михайлушка в большой силе у тетушки, то Сережа никак не мог сообразить этого и задавал себе вопросы: «За что страдает больной старичок, что такое злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас же прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится» (стр. 58). Для разрешения своих сомнений мальчик прибегает к родителям; те стараются объяснить дело как умеют. Но легко понять, что их объяснения остаются крайне несостоятельными пред чистой детской логикой, и дело оканчивается тем, что ребенку велят читать книжку или заняться игрушками. Так почти каждый раз останавливается пытливость мальчика, особенно со стороны матери, которая часто находит случай сказать ему: «Ты еще, друг мой, мал и ничего не понимаешь».

Не мудрено, если ребенок не умел и не хотел бродить один в лабиринте запутанных отношений, среди которых прошло его детство и которые трудно было бы разобрать и опытному взгляду, свободному от все примиряющей и все обесмысливающей рутины. Не мудрено, что живой, восприимчивый мальчик обратился исключительно к природе и своему внутреннему чувству и стал жить в этом мире, в котором не встречал столько противоречий, как в окружающих его житейских явлениях. Впрочем, все это объяснится всего лучше тогда, когда мы рассмотрим эту самую жизнь, как изображают ее нам воспоминания г. Аксакова, хотя его наблюдения по этой части и не столько обильны, как мы бы желали.

Прежде всего мы должны заметить, что жизнь, которую хотим мы представить читателям, по запискам, относящимся по своему содержанию к концу прошедшего столетия, вовсе не похожа на жизнь нынешних помещиков. Ныне распространившееся образование изменило во многом даже деревенскую жизнь. Помещики, конечно, поняли ныне свои отношения к крестьянам гораздо лучше,

чем прежде: доказательством этого может служить то радостное чувство, с которым принимается ими, за исключением самых грубых и необразованных, высочайшая воля об освобождении крестьян. Ныне уже редки помещики, которые живут одними только трудами своих крестьян и сами ничего не делают; ныне дворяне считают своей обязанностью служить или и вне службы иметь какие-нибудь полезные занятия. С течением времени все большее и большее количество дворян начинает заводить у себя улучшения по сельскому хозяйству, принимать участие в промышленных и торговых предприятиях и т. п. Редкий помещик, живущий в деревне, в наше время не выписывает журналов и хороших книг... Следовательно, у них есть куда девать свое время не без пользы и, кроме того, есть сознание необходимости трудиться самому и при помощи просвещающего влияния новых книг, есть уважение к человеческому достоинству и в лице крестьянина. С переменою крепостных отношений исчезнет, без всякого сомнения, и последняя возможность таких явлений, какие бывали в помещичьем

быту в старину, и тогда рассказы о Степане Михайловиче Багрове и Михаиле Максимовиче Куролесове покажутся неправдоподобной выдумкой. Впрочем, они и теперь существуют уже только в воспоминаниях старых людей, и к ним-то относятся «Детские годы Багрова-внука»{8}.

Отец маленького Сережи жил сначала в Уфе и служил там. Мать его знал целый город, как дочь бывшего товарища наместника, и потому знакомство у них было обширное; их беспрестанно посещали гости, и, значит, для всего семейства было развлечение от скуки. Но таково было влияние воспитания того времени, непривычки к серьезному труду и неумения найти высшие интересы жизни; такова была сила ложных отношений, в каких стояли тогда Багровы и все их родственники и знакомые, – что даже и в городской жизни выражалась та же праздность и апатия, в какую они погружались в деревне. Так, два дяди Сережи и их приятель, адъютант Волков, забавлялись тем, что дразнили столяра Михея, желая видеть, как он рассердится; потом ту же забаву перенесли на нервного, раздражи-

тельного Сережу и его дразнили, сочиняя указы о солдатстве, по которым будто бы возьмут его в рекруты, или рядные записи, по которым Волков женится на маленькой сестре его... Забавы, как видите, очень филантропические и благоразумные. Когда же ребенок один раз вышел из терпения и пустил молотком в одного из своих мучителей, его оставили без обеда, заперли в пустой комнате, велели просить прощенья у обиженного им и довели наконец до того, что мальчик захворал. Все это казалось необходимым, по правилам тогдашнего воспитания, для того, чтобы *переломить характер* ребенка. Вообще на воспитание детей никто в доме, как видно, не обращал большого внимания. Отец – каждый день поутру уезжал в должность, а вечером принимал гостей или сам уезжал в гости. Даже мать, хоть и очень любила своего сына и часто говорила с ним, но более ограничивалась ухаживаньем за ним, оставляя его воспитание на руках Параши и Евсеича; часто расспросы ребенка прекращала она словами: «Ты еще мал» или «Об этом мы поговорим после». Для первоначального ученья мальчика

приглашен был учитель из народного училища, и один раз даже посылали Сережу самого в училище. Здесь воспоминания автора рисуют нам картину, отвратительную не столько вообще по своей грубости, сколько по той ужасной противоположности, какая представляется в обращении школьного учителя с Сережей, сыном достаточного и значительно барина, приглашавшего его к себе на дом для уроков, и с бедными мальчиками, порученными его смотрению в училище. Вот сцена, оставшаяся в памяти Сережи и представленная им с удивительной яркостью:

В один очень памятный для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях, под надзором Евсеича, в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении, – комнату, всю установленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал:

перед первым столом стояла, утвер-
жденная на каких-то подставках,
большая черная четверугольная дос-
ка; у доски стоял мальчик с обострен-
ным мелом в одной руке и с грязной
тряпичей в другой. Половина скамеек
была занята мальчиками разных воз-
растов; перед ними лежали на столах
тетрадки, книжки и аспидные доски:
ученики были пребольшие, превысокие
и очень маленькие, многие в одних ру-
башках, а многие одеты как нищие.
Матвей Васильич подвел меня к перво-
му столу, велел ученикам потеснить-
ся и посадил с края, а сам сел на стул
перед небольшим столиком, недалеко
от черной доски; все это было для ме-
ня совершенно новым зрелищем, на ко-
торое я смотрел с жадным любопыт-
ством. При входе в класс Андрюша про-
пал. Вдруг Матвей Васильич заговорил
таким сердитым голосом, какого у
него никогда не бывало, – и с каким-то
напевом: «Не знаешь? На колени!» – и
мальчик, стоявший у доски, очень спо-
койно положил на стол мел и грязную
тряпицу и стал на колени позади дос-
ки, где уже стояло трое мальчиков,

которых я сначала не заметил и которые были очень веселы; когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим, – это была в то же время перекличка; оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет; в четвертый нет, – так розги!» Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя: «Единицы, десятки, сотни»... При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими; учитель хвалил их; но и самые похвалы сопровождалась бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Пере-

кликав всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильич задал урок на следующий раз: дело шло тоже о цифрах, о их местах и о значении нуля. Я ничего не понял, сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив ни мертв, пораженный всем, мною виденным. Задав урок, Матвей Васильич позвал сторожей; пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я увидел живую и шумную вокруг меня суматоху: забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял

меня за руку и прежним тихим голосом просил «засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке» (стр. 140–143).

Испытавши такое впечатление, Сережа, разумеется, явился домой расстроенный и взволнованный. Но его стали уверять, что это ничего, что так и должно быть, что в том и состоит обязанность Матвея Васильевича, чтобы сечь мальчиков, не знающих урока. Так в то время понимали задачу воспитания. Но мальчик никак не мог удовлетвориться такими понятиями; он не мог примириться с мыслью, что, по его выражению, «виденное им не было исключительным злодейством, за которое следовало бы казнить Матвея Васильича; что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности; что сами родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем; что Матвей Васильич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком». Несмотря на все уверения в

невинности Матвея Васильича, Сережа получил к нему такое отвращение, что уже не мог более у него учиться. Через месяц учителю отказали, и так как другого учителя во всем городе не было, то отец и мать сами заменили его. Но их заботы ограничились немногим: всего больше они смотрели за тем, чтобы мальчик писал как можно похожее на прописи. А между тем мать автора принадлежала, по своей образованности и уму, к числу женщин редких в то время и удивляла высотой своего просвещения лучших людей своего времени, как, например, Новикова. Она с крайней неохотой отправлялась на житье в Багрово, именно потому, что там «всё люди грубые и необразованные, с которыми слова сказать нельзя», и что жизнь в деревенской глуши, без общества умных людей, ужасна. К сожалению, автор не сохранил в своих воспоминаниях, что это было за общество умных людей и что делали молодые Багровы в своем избранном обществе. По своим летам и по степени своего развития автор не мог еще тогда обратить надлежащее внимание на это обстоятельство. Впрочем, один особенный

случай, рассказанный автором, показывает, что жизнь большей части уфимских жителей ограничивалась тогда скорее кругом личных интересов, нежели сочувствием к явлениям, важным в общественном смысле. Случай этот – получение в Уфе известия о кончине императрицы Екатерины. Всех оно огорчило; но губернатор В. «публично показывал свою радость, что скончалась государыня, целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин» (стр. 190). Все это делалось «потому, что новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком». Все были в негодовании на явное выражение радости губернатором, и все соглашались, когда мать Сережи убеждала, что не надо ехать на бал к В. Но тут выразилось бессилие всех этих людей пред принятой формой, перед привычкой – являться на каждое приглашение губернатора. Убежденные, что ехать на бал к В. не должно и стыдно, все решили, что, однако, *нельзя не ехать*, и даже отец Сережи отправился туда, «но скоро воротился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только В.,

двое его адъютантов и старый депутат С. И. Аничков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что «пора мужской руке взять скипетр власти» (стр. 191). Случай этот, показывая, до какой степени общие интересы и убеждения уступали место частным расчетам, не представляет в особенно хорошем свете избранное уфимское общество. Равным образом не видим мы доказательства особенной развитости этого общества в том обстоятельстве, что здесь «всегда говорили потихоньку» об известиях, получавшихся из Петербурга и всех приводивших в смущение. Скрытность даже в семействе была так велика, что не смели говорить вслух даже при шестилетнем Сереже. «Одного только нельзя было скрыть, – замечает он в своих воспоминаниях, – государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами (сюртуки назывались *оберроками*); и кроме того – чтоб жены служащих чиновников носили, сверх своих парадных платьев, что-то вроде курточки с таким же шитьем, ка-

кое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышиванья и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера или курточки» (стр. 234).

Таковы в «Детских годах» немногие сведения о том, как проходила жизнь родных Сережи в городе. Но большая часть книги занята изображением деревенской жизни, то в Багрове, то в Чурасове. Из этой-то жизни мы и представим теперь некоторые черты, наиболее характеристичные.

В первый раз Сережа был в Багрове еще при жизни дедушки Степана Михайловича, уже известного читателям из «Семейной хроники». Степан Михайлович вовсе не был дурным исключением из своих собратий; напротив – если он и отличался от других, подобных ему помещиков, – то именно отличался своими хорошими качествами. Он обладал твердой волей, неизменной правдивостью, практической сообразительностью, он требовал только должного (по крайней мере согласно его понятиям); он благодетельствовал

крестьянам в голодные годы, рассуждая, что благосостояние крестьян есть вместе и его собственное благосостояние. Все это – такие качества, которые не у всех помещиков можно было найти в то время. Своими добродетелями Степан Михайлович заслужил общее уважение и даже любовь, что опять не всякому помещику удастся. Но при всем этом – посмотрите, что сделало из этой твердой, доброй и благородной природы то положение, в каком он находился. Его понятия о чести, добре и правде перепутаны, его стремления мелкие, круг зрения узок, страсти никогда не сдерживаются рассудком, внутренняя сила, не находя себе правильного, естественного исхода, раздражается только домашнею грозою. Мы не говорим уже об этих диких вспышках, когда Степан Михайлович стаскивал волосник с своей старухи жены и таскал ее за косы, – если только она осмеливалась попросить за свою дочь, на которую старик рассердился; в этих вспышках ясно выражается произвол, к которому всегда приводило человека полное, безответственное обладание людьми, безгласными против его воли. Можно, конеч-

но, объяснять припадки гнева в старике Багрове тем, что таков уж его характер был, что он не мог сдержатъ себя. Но отчего же, спросим мы, с распространением образования перевелся в дворянстве и обычай бить своих жен? Разве теперь уже вспыльчивых характеров нет? И неужели русский человек имеет более пылкие страсти, нежели все другие образованные народы? Отчего же бы русскому человеку иметь непременно большую наклонность к собственноручной расправе, чем, например, хоть бы итальянцу, который, как известно, тоже не отличается особенной холодностью крови? А между тем один из русских путешественников недавно напечатал толстую книгу, в которой поносит Италию именно за то, что там ему не позволяли драться, невзирая даже на то, что он состоял, кажется, в четвертом классе{9}. Драться, по его мнению, необходимо для *порядка*. К таким мнениям, выражаемым, конечно, на деле еще чаще, чем на словах, приводит именно возможность давать простор своей страсти, как замечает сам г. Аксаков, говоря о Куролесове в «Семейной хронике»: «Избалованный

страхом и покорностью всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию». Действительно, действие этого психологического закона, имеющего такое громадное практическое приложение, каждый человек, даже самый кроткий, испытывал, вероятно, на себе. Когда вы раздражены – хотя бы и справедливо – и начинаете выражать свое неудовольствие, то сначала вы следите за собой, соображаете свои выражения, умеете сказать именно то и столько, сколько считаете нужным и возможным. Но, видя, что отпора нет, что вашему гневу не полагается преград, вы – даже и в несправедливом гневе – ободряетесь, ваш собственный голос своим звуком, все более крепким и высоким, подстрекает вас, и вы кончаете тем, что забываете всякую меру и даете полную волю страсти. В нашей общественной жизни это явление еще не так резко бросается в глаза, потому что опасение ответственности пред законом или сознание принятых приличий часто останавливает нас, несмотря на отсутствие видимого противодействия со стороны тех, на кого падает наш

гнев. Но отнимите это сознание всякой ответственности, поставьте пред нами существа беззащитные, безответные, состоящие в полном нашем распоряжении, – и заметка г. Аксакова о Куролесове вполне оправдывается на каждом человеке, который долгою работою над самим собою не приобрел нравственной независимости от внешних развращающих влияний. Мысль эта оправдывалась и на практике во все времена. Характеры, подобно старому Багрову и Куролесову, неизбежны при тех бытовых отношениях, при той нравственной обстановке, в какой находились эти люди. По общему психологическому закону – при недостаточном развитии одних способностей души сила развития обращается на другие, которые встречают менее препятствий, и следствием неравномерности влияний бывает всегда одностороннее развитие. Какие же влияния могли благоприятствовать развитию нравственных начал и здравых понятий в людях, находившихся в положении Багрова и Куролесова? Оба они служили в полку. Степан Михайлович даже русскую грамоту знал плохо и любил хвалиться тем, что умел счи-

тать на счетах; Куролесов же, хотя умел писать бойко и знал кое-что, но никакого солидного образования тоже не получил. Да и на что ж им было образование, когда они с малолетства чуяли возможность простым и даровым способом удовлетворять всем потребностям жизни? На что им были какие-то нравственные начала, когда они видели впереди сферу, в которой никакая нравственность их стеснять не будет, в которой они будут полными, бессудными господами и их воля будет законом для окружающих? Произвол, господствовавший встарь в отношениях помещиков к крестьянам и особенно дворовым, существовал совершенно независимо от того, вспыльчив был барин или нет. Произвол этот был общим, неизбежным следствием тогдашнего положения землевладельцев. Еще более же он увеличивался их необразованностью, которая опять, как известно, обуславливалась их положением. Какое сознание прав человека могло развиваться в том, кого с малых лет воспитывали в той мысли, что у него есть тысяча, или сотня, или десяток (все равно) людей, которых назначение – служить ему, вы-

полнять его волю – и с которыми он может сделать все, что хочет? Естественно, что человек, пропитанный такими внушениями, – привыкал ставить самого себя центром, к которому все должно стремиться, и своими интересами, своими прихотями мерил пользу и законность всякого дела. Еще в недавнее время жили такие понятия, и даже наш знаменитый писатель, от которого ведет свое начало современное направление литературы, писал к помещику советы о том, как ему побольше наживать от мужиков денег, и советовал для этого называть мужика бабою, неумытым рылом и т. п. Бить не советовал только потому, что «мужика этим не проймешь: он к этому уже привык»!^{10} Но в то время, когда эти мысли были высказаны, энергическое обличение уже встретило их со всех сторон, и весь авторитет писателя, как он ни был велик, не спас его от сарказмов, крайне ядовитых по своей справедливости^{11}. – Не то было в старину. Тогда многие помещики считали единственным здравым началом в управлении крестьянами – старание получить от них сколько возможно более выгоды. Под этот

уровень подходили все помещичьи натуры, за весьма немногими исключениями. Зверски жестокий, буйный и пьяный Михаил Максимыч Куролесов сходил в этом с благотельным, правдивым, строго нравственным по-своему Степаном Михайловичем Багровым. Куролесов в два-три года поправил расстроенное хозяйство, оставив по себе память, что он *крутенок*. Главным из употребленных им средств улучшения хозяйства было переселение крестьян на новые места. Багров сделал то же самое с своими крестьянами, по тому же расчету собственных выгод. Его не остановил вопль и плач крестьян, «прощавшихся навсегда с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, с могилами дедов и отцов». Его не удержала мысль о трудностях, которые должны встретить крестьяне, переселяясь с лишком за четыреста верст, со всем своим хозяйством. Он не подумал о том, что, как замечает автор записок о нем, «переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселение тогда в неизвестную бусурманскую сторону, про которую, между хорошими, хо-

дило много недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди, и новорожденным младенцам долго оставаться некрещеными, – казалось делом страшным» («Сем. хр.», стр. 18). Степан Михайлыч не думал ни о чем этом, точно так же, как не думал о нравственном значении своих поступков, когда осматривал свое паровое поле, обработанное крестьянами, и употреблял следующую хозяйственную меру: «Он приказывал возить себя взад и вперед по вспаханым десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни: всякая целина, всякое не тронутое сохою местечко сейчас встряхивало качкие дроги, и если он бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его не было с ним, и расправа производилась немедленно» («Сем. хр.», стр. 38). Принцип, управляющий его действиями, очевиден: надо действовать строгостью, чтоб хозяйство хорошо шло. При этом принципе никакие философские размышления о правах человека, никакие экономические соображения о труде, задельной плате и т. п. не могли иметь места.

«Есть люди, которые должны трудиться для того, чтобы я мог жить в довольстве и спокойствии; если они этого не делают, я должен принудить их, – а самая лучшая принудительная мера – собственноручная расправа с личностью или же телесное наказание более солидного характера, иногда даже с «кошечками», как у Михаила Максимыча»[4]. Такая логика не заключает в себе ничего странного. Раз сознавши основную посылку, т. е. что есть люди, назначенные к тому, чтобы работать для чужого, а не для своего счастья, человек чрезвычайно логически доходит уже до самых крайних выводов из этого безнравственного положения. Прекрасно выражены подобные выводы в одной из статей новиковского «Живописца». Хотя это сатирическая, следовательно, все-таки вымышленная вещь, но мы приведем ее здесь, наряду с чисто историческими сведениями, – и вот на каких основаниях. Новиков, как известно, был первый и, может быть, единственный из русских журналистов, умевший взяться за сатиру смелую и благородную, поражающую порок сильный и господствующий. Сатира его, как и вообще

русская сатира, не произвела своего влияния, так что некоторые из его нападений могут относиться даже к нравам настоящего времени. Притом и сатире Новикова недоставало литературных достоинств и той прямоты и откровенности, какая неизбежна в обличении порока. Он затрагивал такие вопросы и интересы, которые только еще в настоящее время находят свое разрешение и о которых поэтому во времена Новикова нельзя еще было говорить всего, что нужно. При всем том жизнь и сила составляют отличительные достоинства «Трутня» и «Живописца». Лучшее время Новикова было первое десятилетие царствования Екатерины, когда он еще не пускался в мистицизм и не навлек на себя подозрений правительства{12}. Это было вообще золотое время русской сатирической литературы, которое только теперь обещает наконец повториться, если опять не встретит препятствий в невежестве и малодушной подозрительности некоторых личностей. Широко и бодро расправили тогда крылья русские сатирики, во главе которых стояла сама императрица. Новиков посвятил ей (по-тогдашнему – *приписал*

) свой «Живописец», говоря в предисловии, что когда на престоле восседает сама мудрость, покровительствующая истине во всем, то можно обличать смело и свободно все пороки и предрассуждения, не опасаясь негодования знатных людей. Негодование знатных было в то время единственной, но крепкой преградой для сатиры: вспомним, как Державин страшился за свою «Фелицу» и за переложение псалма «Властителям и судиям»{13}. В то время как и долго еще спустя, были тупоумные и злонамеренные люди, которые во всяком литературном обличении, особенно если оно немножко резко, искали каких-то намеков, вредных мыслей, указаний на себя и на своих знакомых. Против таких злонамеренных тупоумцев вооружается Новиков всей силою своей логики в одной из статей «Живописца». Смысл этой длинной статьи таков. Непонятно, как могут быть люди – тупые и бессовестные настолько, чтобы решаться высказывать свое неудовольствие по поводу статей, в которых представляются дурные помещики и вообще дворяне. Неужели они не видят, что своим неудовольствием только дока-

зывают, что узнали самих себя в этих изображениях? Но они говорят, что вступаются за честь дворянского сословия. Это еще хуже, еще нелепее. Если изображение жестокости, невежества, глупой спеси помещика оскорбляет честь дворянского сословия, то, видно, оно поставляет свою честь и преимущества в возможности совершать, без страха суда и обличения, всякие жестокости, насилия, дурачества и т. п. Можно бы еще нападать на меня, говорит «Живописец», если бы я лгал. Но – «кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление не достойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству?». Если же это так, то можно ли человеку, имеющему здравый смысл и хоть сколько-нибудь честности и благородства, обижаться правдивым представлением всего, что есть? «Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус, я еще важнее скажу: кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или сатира на них?» В

заклучение говорится, что некоторые порицали листки «Живописца» «по слепому пристрастию ко преимуществу дворянскому» и утверждали, что хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однако ж будто они, яко благородные люди, от порицания всегда должны быть свободны, и что будто точно о крестьянах сказано: «Накажу их жезлом беззакония...» И подлинно, они *часто* наказываются беззаконием. «Но со стороны людей порядочных, коль чудно и странно, – замечает Новиков, – защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные и добросердечные дворяне никогда не пользуются!» (см. «Живописец», изд. 5, стр. 76–77).

Так говорил «Живописец», и после такой его защиты можно, кажется, приводить описанные им явления – как несомненно существовавшие. Не можем сказать, как долго продолжались те мнения и тот образ действий помещиков, о котором он упоминает, потому что, по несчастью, голос обиженных сатирою тупоумцев успел заглушить голос правды, и скоро сам Новиков в своей сатире пустился в

ту же мелочь, какой занимались и другие. С тех пор с лишком полвека нужно было, чтобы русская литература и в особенности сатира – могли убедить «знатных господ», как выражался «Живописец», в своей благонамеренности, правдивости и пользе. В недавнее время они еще существовали: на них жаловался и над ними смеялся Гоголь. Существуют, конечно, и в наше время такие невежественные противники литературы, которые желали бы запретить все, что хоть сколько-нибудь резко и колко. Но теперь такие запретители встречаются уже общим презрением и изумлением; общество смотрит на них как на что-то необычайное, едва веря возможности их существования. И если бы в наше время нашлись люди, полагающие, что теперь нельзя печатать, например, того, что, например, печатал Новиков в пяти изданиях своего «Живописца» [5], то все, кажется, с горьким недоумением обратились бы на них и стали показывать пальцами, спрашивая друг друга: правда ли? правда ли? Неужели это правда?

Читатель извинит нас за длинное отступление, относящееся к Новикову и его сатире.

Мы должны были его сделать для того, чтобы оправдать себя в том, что обращаемся к сатирическим изображениям, как будто к фактическим данным. Теперь, объяснивши, в чем дело, приведем несколько выписок из «Живописца» и «Трутня» в подтверждение той же мысли, что произвол и своекорыстные расчеты были весьма обыкновенным явлением в отношениях старинных помещиков к крестьянам. Вот, например, отрывок из письма одного помещика из деревни к сыну («Живописец», ч. I, стр. 80–90):

Меня отрешили от дел за взятки: процентов больших не бери! Так от чего же разбогатеть? ведь не всякому бог клад дает. А с мужиков ты хоть кожу сдери, так не много прибыли. Я, кажется-таки, и так не плошаю, да что ты изволишь сделать? Пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают? Секу их нещадно, а все прибыли нет; год от году все больше нищают мужики: господь на нас прогневался!.. Приехал к нам сосед Брюжжалов и привез с собою какие-то печатные листочки, и, будучи у меня,

читал их... Что это за Живописец та-
кой у вас проявился? какой-нибудь
немец, а православный этого не напи-
сал бы.

Говорит, что помещики мучат кре-
стьян, и называет их тиранами; а то-
го, проклятой, и не знает, что в ста-
рину тираны бывали некрещенные и му-
чили святых. А наши мужики ведь не
святые, как же нам быть тиранами?..
Изволит умничать, что мужики бед-
ны: этакая беда! неужто хочет он,
чтоб мужики богатели, а мы бы, дво-
ряне, скудели! Да этого и господь не
приказал: кому-нибудь одному богато-
му быть надобно, – либо помещику, ли-
бо крестьянину: ведь не всем старцам
в игумнах быть. Да на то они и кре-
стьяне: его такое и дело, что работай
без отдыху. Дай-ко им волю, так они и
неведь что затеют. Вот те на! до чего
дожили! Только я на это смотреть не
буду. Ври себе он, что хочет, а я знаю,
что с мужиками делать... Кабы я был
большим боярином, так управил бы
его в Сибирь. Этакие люди – за себя не
вступятся! Ведь и бояре с мужика-
ми-то своими поступают не по-немец-

ки, а всё так так же, по-русски, и их крестьяне не богаче наших. Да что уж и говорить! И они свихнулись! Недалеко от меня деревня Григорья Григорьевича Орлова; так, знаешь ли, по чему он с них берет? Стыдно и сказать: по полтора рубля с души! А угодьев-та сколько! И мужики какие богатые! живут себе да и годки не мают, богаче много дворянина. Ну, а ты рассуди сам, какая ему от этого прибыль, что мужики богаты? Кабы перетаскал в свой карман, так это бы получше было. Этаким ум!.. То-то ни к рукам этакое добро досталось! Кабы эта деревня была моя, так бы я по тридцати рублей с них брал, да и тут бы их в мир еще не пустил. Только что мужиков балуют. Эх, перевелись-та старые наши большие бояре: то-то были люди, — не только что со своих, да и с чужих кожи драли.

В том же письме к сыну рассудительный папенька извещает, что его собаку Налетку укусила другая, бешеная собака и что людям за это досталось хорошо. «Сидоровна твоя (мать) всем кожу спустила. То-то проказница!

Я за то ее и люблю, что уж коли примется сечь, так отделаает!» О самом сынке батюшка вспоминает такие приятные вещи. Помнишь ли, говорит, как ты в молодых летах забавлялся: «вешивал собак на сучьях, которые худо гонялись за зайцами, и секал охотников за то, когда собаки их перегоняли твоих. Куда какой ты был проказник смолоду! Как, бывало, примешься пороть людей, так пойдет крик такой и хлопанье, как будто за уголовное в застенке секут. Таки, бывало, животики надорвешь от смеха. Молись, друг мой, богу, ничего, правду сказать, ума у тебя довольно, можно век прожить!» (стр. 24).

В таком же роде находим мы в «Трутне» «Отписку старосты Андрюшки» и приказ барина, в ответ на отписку. Староста доносит о сборе оброка с крестьян и извиняет недоимки тем, что «крестьяне скудны, взять негде нынешним годом, хлеб не родился, насилу могли семена в гумны собрать, да бог посетил нас скотским падением». Затем уведомляет, что неплательщиков, «по указу твоему господскому, сек нещадно», но что они все-таки денег не дали, потому что взять негде. Далее

дело идет о Филатке, за которым числятся недоимки, потому что он сам хворал все лето и старший сын у него умер, а остались малые ребятишки. Две клетки у него проданы для уплаты недоимки, лошади пали, одну корову продали, а другую оставили пока для ребятишек. «Миром сказали: буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут, а ребятишек поморить и его вконец разорить не хотят». Плохо уже и то, теперь без лошади никуда не годится: господских работ исправлять не может. Далее идет речь о том, что крестьян соседи обижают, что им оброк тяжел, что староста каждое воскресенье сбор делает и неплательщиков сечет нещадно, но что толку от этого нет вовсе. Потом староста уведомляет о хозяйственных распоряжениях: лесу господского продано крестьянам на дрова на семь рублей с полтиной, да на две избы, по пяти рублей за избу, да с Антошки взято пять рублей за то, что осмелился назвать барина в челобитной отцом, а не господином. «И он на сходе высечен. Он сказал: я-де это сказал с глупости, – и напредки он тебя, государя, отцом называть не будет». В ответ на эту отпис-

ку, в одном из следующих листов «Трутня» (стр. 236 и след.) помещена «Копия с помещицкого указа – человеку нашему Семену Григорьеву», который посылается в деревню для ревизии. Вот некоторые статьи указа:

1) *Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.*

2) *Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запуская оброк в недоимку, и после из старост его сменить; а сверх того взыскать с него штрафа сто рублей.*

3) *Сыскать в самую истинную правду, как староста и за какие взятки нас оболгал (обманул) ложным доносом. За то прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.*

6) *И как нет сомнения, что староста донос учинил ложный, то за оное перевести его к нам на житье в село **; буде же он за дальным расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще*

пятьдесят рублей...

8) Крестьян в разделе земли по просьбе их поровнять по твоему благорассуждению; но притом, однако ж, объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, не делая никаких отговорок, платили бездоимочно; неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.

9) Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель нужно взять выпись; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько нужно будет на взятые выписи.

10) В начавшийся рекрутской набор с наших деревень рекрута не ставить: ибо здесь на них поставлен в рекруты Гришка Федоров, за чиненные им неоднократно пьянства и воровство, вместо наказания, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубля с души...

12) По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги; а Филатке объявить, чтобы он

впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк бездомочно.

13) Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно; буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты...

16) По исправлении всего вышеписанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег.

Если это письмо вымышлено, то, нужно признаться, оно вымышлено с большим талантом и знанием дела и недостатков того времени. Как ярко проглядывает здесь старинный произвол помещичьей власти, не имеющей в виду ничего, кроме собственного обогащения! Как сильно и ярко выражается полное, невежественное пренебрежение ко всем человеческим правам и требованиям крестьян! И все это без ожесточения, без злобы, а совершенно спокойно: внушить им, чтобы платили; а не станут платить – так сечь нещадно! Переселить его в отдаленное село;

а не захочет разоряться – так взять с него пятьдесят рублей! И замечательно, что, не умея сам определить границ своих прав в отношении к крестьянам, сам не зная меры своему произволу, помещик передает тот же произвол и человеку своему. «Поровняй, говорит, их по твоему благорассуждению, возьми с них, сколько потребно будет», т. е. сколько тебе покажется нужным. Тут уже «человек» Семен Григорьев получил участие в интересах своего господина и вследствие того получает такую же произвольную власть. Этот простор произвола, грубого и невежественного, виден почти во всех типах больших господ прошедшего столетия, сохраненных воспоминаниями современников или литературными соданиями. В «Детских годах» мы видим две такие личности, кроме старика Багрова, который тут также является с своим обычным характером.

Важное место в воспоминаниях г. Аксакова занимает Прасковья Ивановна Куролесова, его двоюродная бабушка. Это была женщина, много испытавшая на своем веку, имевшая доброе сердце и светлый взгляд на вещи. Она

хотела, между прочим, чтобы мужики ее были богаты. Но при всем том и она избаловалась от постоянной раболепной покорности всех окружающих. Вся цель жизни определилась для нее тем, чтобы ничем не озабочивать себя и не иметь никаких преград для своих желаний, Поэтому она поручила все управление крестьянами Михайлушке, хотя и знала, что он плут. Главное для нее было то, чтоб ее ничем не беспокоили; с Михайлушкой она этого достигала, и с нее было довольно. Многочисленная дворня ее была безобразно избалована и безнравственна; она не хотела ничего замечать. Если же как-нибудь случайно наткнется она на пьяного лакея или кого-нибудь дворового, то сейчас прикажет Михайлушке отдать виновного в солдаты; не годится – спустить в крестьяне. Заметит нескромность поведения в женском поле – опять прикажет отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать за крестьянина.

«Но, – замечает г. Аксаков в своих записках, – для того чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надоб-

но было самой барыне *нечаянно* наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном»

(стр. 314) Привычка ничем не стеснять себя, ничего не делать для общества, а, напротив, требовать, чтобы другие всё делали для нее, постоянно выражается во всех поступках Прасковьи Ивановны; гостями своими она забавляется, как ей вздумается, или ругает их в глаза, если захочет; от родных своих она требует повиновения и никогда не встречает противоречия, даже в самых важных случаях. Так, Алексея Степаныча Багрова, гостившего у ней, она не хотела отпустить к умирающей матери, сказавши, что «вздор! она еще не так слаба»; – и Алексей Степаныч не смел ее послушаться, пробыл у нее лишнее время и не застал в живых матери. Так, она не захотела, чтобы дети обедали с большими, и Софья Николаевна, никогда не обедавшая врозь с своим милым Сережей, не смела даже заикнуться о том, чтобы посадить детей за общий стол.

Неограниченный произвол с одной стороны и полное безгласие – с другой развивались в ужасающих размерах среди этой беззаботной, пышной жизни на трудовые крестьянские гроши. Даже в тех поступках, которые происходили просто от радушия, веселости, от доброты сердца, наконец, – и в них этот грубый произвол, это незнание меры своеволию в обращении с людьми, которых и за людей не считали, выглядит подобно безобразному пятну на хорошей картине. В воспоминаниях г. Аксакова находим мы, между прочим, изображение сцен такого рода. Между гостями Прасковьи Ивановны бывал часто Александр Михайлович Карамзин, которого все называли богатырем за его огромный рост и необыкновенную силу. «Однажды, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну (приживалку Прасковьи Ивановны) и начал метать ею, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому»

(стр. 426). Эти добрые, благородные люди, гости Прасковьи Ивановны, могли смеяться, смотря на такую сцену! Да отчего же им было и не смеяться, когда они тысячу раз видали сцены гораздо посерьезнее? «Но мне жалко было бедную Дарью Васильевну», – прибавляет г. Аксаков, и, разумеется, как всегда, непосредственное чувство ребенка, еще чистого и неиспорченного, служит и здесь горькою уликою взрослым.

Другая из личностей, упоминаемая г. Аксаковым и относящаяся к тому же разряду, о котором мы говорили выше, есть богатый помещик Д., употребивший свое богатство очень хорошо: на оранжереи, мраморы, статуи, оркестр, удивительных заморских свиней, величиною с корову, и т. п. Мать Сережи отозвалась о Д., что он человек добрый. То же самое говорил о нем и один из крестьян, который, между прочим, вот что рассказывал о нем:

«Когда умерла одна из свиней (которых было две у Д.), – то-то горе-то у нас было, – говорил мужик. – Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милостивый, до всякого

скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского: уж и мы ему не взмились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы – домо-рощина. А добрый был барин, уж сказать нельзя, какой добрый; да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца: вода преотменная, родниковая, холодная. Мужички, выезжая на поле, вавсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть – одетые в кумачные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто ни едет, и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали: говорят, что непригоже!» (стр. 474).

Видите, как прихотливая затея тогдашнего богатого помещика, затея самая невинная и добродушная, выказывает, однако, полное неуважение обычаев, взглядов и нужд его крестьян. Ему нет нужды, что его деревянные

нимфы лишают крестьян воды; зато проезжие останавливаются и дивятся! Это такая же невинная штучка, как выкидывание артикула посредством Дарьи Васильевны. В этом же роде были и затеи старика Багрова, когда он был в хорошем расположении духа. Он после ужина заставлял, например, двух слуг своих, Мазана и Танайченка, драться на кулачки: и бороться. При этом он сам, смеха ради, их поддразнивал до того, что они не шутя начинали колотить друг друга и даже вцеплялись друг другу в волосы. Такая забава действительно не должна была казаться дикою и безнравственною тому человеку, в котором считалось большою милостью, когда он, будучи в хорошем расположении духа, позволил мужику «жениться, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам» («Сем. хр.», стр. 43).

Само собою разумеется, что многое из того, что нам кажется теперь бесчеловечным и безнравственным, происходило и от общей тому времени недостаточности здравых понятий обо всем на свете. Сближение с Европою для многих важных бояр послужило только сред-

ством получать из-за границы более предметов, служащих к роскошной жизни, а роскошь бым» причиною многих безнравственных поступков. Князь Щербатов, в своем сочинении «О повреждении нравов в России» {14}, главною причиною всего зла полагает *сластолюбие* [6]. Приводимые им примеры сильно свидетельствуют в пользу его мнения. Но ясно, что *сластолюбие* могло быть только ближайшею причиною развращения. Остается вопрос: откуда бралось такое сластолюбие, и главное – откуда получало оно средства для удовлетворения своих прихотей? Человек, обязанный приобретать средства для жизни своими трудами, не скоро может предаться влияниям «сластолюбия». Напротив, человек, получающий огромные доходы без всяких с своей стороны усилий, – естественно предается всем излишествам, всякой роскоши, зная, что на него работают другие и что благодаря этим другим средства его неистощимы. Конец концов – вся причина опять сводится к тому же главному источнику всех бывших у нас внутренних бедствий – крепостному владению людьми. Оно-то и внушало владельцу

его беспечность, его лень, спесь и презрение к тем, которые были осуждены служить для его прихотей. Общему будто бы непониманию человеческого достоинства в тот век – приписать поступки, подобные вышеприведенным, нельзя. Правда, что в то время и вообще нравы были грубее; но вспомним только, что голос евангельского учения о братской любви к человечеству раздался в нашем отечестве за восемьсот лет пред тем... Что в век Екатерины достоинство и право человека понимались уже очень ясно, доказательством может служить ее Наказ^{15}. Мало того, даже в литературе раздавались голоса против неуважения человеческих нрав. В «Живописце» есть одна статья, называющая безрассудством мнение о какой-то неблагородности крестьян и приписывающая его именно помещицкому положению и привычкам. Мы приведем эту статью («Живой.», ч. I, стр. 137).

Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человека, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и

поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостоивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле расprostираются. Он тогда думает: «Я господин, они мои рабы; они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Бедные крестьяне любят его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем, что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное; но говорят: «Это не мое, но божие и господское!» Всевышний благословляет их труды, а Безрассуд обирает их! Безрассудный! разве не знаешь

ты, что между твоими рабами и человеками гораздо более сходства, нежели между тобою и человеком? Вообрази рабов твоих состояние: оно и без отягощения тягостно. Когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения, то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки!

Заключением этой статьи служит «Рецепт», в котором Безрассуду предписывается как средство для излечения от безрассудства – упражнение в рассматривании костей господских и крестьянских до тех пор, пока он найдет между ними различие («Живописец», ч. I, стр. 140).

Что подобные «безрассудства» не вымышлены «Живописцем», а действительно существовали, очевидно из фактов, уже представленных нами, и множества других, которые мы могли бы представить из записок современников. Данилов, например, рассказывает один случай из своего отрочества («Записки Данилова», М., 1842, стр. 42–44), фактически доказывающий, как смотрели иные помещи-

ки на крестьян. Данилов был одно время в деревне у родственницы своей, какой-то вдовы, у которой был племянник Ванюша. Раз этот племянник затащил Данилова и еще одного «молодого слугу» тихонько обивать яблоки. Но как те не хотели приниматься за это, то он один управился с яблонью. Тетушке донесли о таком поступке; она велела призвать виновных и, в страх племяннику, велела «поднять слугу на козел, и секли его очень долгое время немилостиво». Племяннику же сделали выговор. О той же вдове Данилов рассказывает, что она, каждый день решительно, призывала во время обеда кухарку и тут же, в столовой, приказывала сечь ее: «И потуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать; это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита» (стр. 43). В таких развлечениях нельзя не видеть той самой мысли, какую подметил «Живописец» у Безрассуда.

Интересно видеть, как произвол и грубость в обращении с своими подвластными переходили в старину у помещиков и в их собственные семейные отношения. Степан

Михайлович, привыкший, чтобы его трепетали в поле, на гумне, на мельнице, не мог уже не требовать страха и трепета и от домашних. Свою Арину Васильевну он таскал за косы так, что она по целому году с пластырем на голове ходила. Дочери боялись и почитали его как своего господина, а не как отца. Отсутствие живых семейных связей и тупая покорность перед силой очень ярко выразилась в семействе Багровых после смерти бабушки. Описание сцен, следовавших за смертью Степана Михайловича, принадлежит к числу самых живых и интересных страниц «Детских годов» г. Аксакова. Любопытно, как относятся теперь мать и старшие сестры к Алексею Степановичу и к невестке, которую прежде столько преследовали. Старуха мать не смеет сесть за стол, пока не явится младший сын, ставший теперь *хозяином* в доме. Напрасно невестка ее упрашивает не дожидаться; старуха отвечает: «Нет, нет, невестынька: по-нашему не так, а всяк сверчок знай свой шесток». Когда сын входит, она встает и идет к нему навстречу с поклоном, а сестры даже падают в ноги брату с вытьем и

просьбами – не оставить их. Потом с теми же униженными просьбами обращаются к невестке, как хозяйке в доме. Сцены эти могут некоторым нравиться, как живой памятник патриархальных отношений домочадцев к владыке дома. Но мы, признаемся, не видим в них ничего, кроме чрезвычайной неразвитости и спутанности нравственных понятий и кроме привычки – быть под началом, при отсутствии всяких духовных связей любви и истинного уважения. Интересно, как выражается за обедом печаль по только что умершем главе семейства. «За столом все принялись так кушать, – говорит г. Аксаков, – что я с удивлением смотрел на всех». Между прочим, одна из дочерей покойника, разливая уху и накладывая всем груды икры и печенок, просила покушать их в память того, что батюшка-то любил их. И при этом слезы капали у ней в тарелку. Несмотря на то, она, как и другие, кушала с удивительным аппетитом. После обеда же все отправились спать и проспали до вечернего чая. В девятый день опять был обед, и тут уже все были спокойны, пока не подали блинов. Но как только явились на

стол блины, все принялись кушать их со слезами и даже с рыданиями. Это выражение любви посмертное. А вот что было при жизни. Во время житья в Багрове, уже после смерти дедушки, Сережа зашел в один амбар, отделенный для тетушки Татьяны Степановны, оставшейся незамужнею и жившей при родителях. Там увидел он сундучки, ларчики, ящички, посуду, даже бутылки с новыми пробками и, наконец, кадушку с колотым сахаром. Он обратился за объяснением такого странного явления к своей няне Параше, и та, увлеченная благородным негодованием, объяснила, что барышня все это потихоньку натаскала у покойного дедушки, а бабушка ей потакала. Такова была семейная нравственность, таковы отношения между людьми, в сущности незлыми и но бесчестными. Г-н Аксаков замечает (в «Семейной хронике»), что вообще, несмотря на свой трепет пред Степаном Михайловичем, и жена и дочери пользовались всяким удобным случаем надуть его и постоянно с ним хитрили. Этого, разумеется, и следовало ожидать от людей, которые связываются между собою единственно узами страха

и из которых один привык своевольно распоряжаться, а другие – бессловесно и неразумно трепетать пред его волей.

Впрочем, и эти покорные существа имели свою сферу, в которой являлись уже сами распорядительницами. Во владении бабушки Арины Васильевны находился свой особый мир деревенских девок и девчонок. Г-н Аксаков рассказывает одну из сцен бабушкина управления, которой ему привелось быть свидетелем. После смерти мужа Арина Васильевна, уже ослабевшая и отставшая от хозяйства, занималась главным образом пряжей козьего пуха. Множество девочек, сидя вокруг нее, должны были выбирать волосья из клочков козьего пуха. Если выбрано было нечисто, то бабушка бранилась. Один раз бабушка сидела таким образом за пряжей и весело разговаривала с внучком, следовательно, была в самом шелковом расположении духа, когда одна девочка подала ей свой клочок пуху, уже раз возвращенный назад. «Бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ре-

менную плетку и начала хлестать бедную девочку» (стр. 269). Внучек был возмущен этим зрелищем и убежал от него; но для бабушки это была обыкновенная семейная расправа: на то уж и плетка лежала под подушками. Это даже не было, собственно, назначено для дворовых и крестьянских девчонок; справедливость требует сказать, что и с родными детьми такие потасовки были тогда не в редкость. Руки, привыкшие к размашистому управлению, требовали и в семействе такой же деятельности, как на господском дворе и запашке. Не только у таких людей, как старики Багровы, но и у более кротких господ воспитание детей шло постоянно с помощью собственноручной расправы. Болотов, например, рассказывает о своей матери, что она была весьма кроткая и разумная женщина. О ее кротости, даже трусости свидетельствуют многие обстоятельства в записках Болотова. Когда, например, один сосед подал на нее в суд жалобу, что к ней в именье убежала когда-то его крепостная баба и вышла там замуж за крепостного Болотовых мужика, то мать Болотова крайне перепугалась, собрала

домашнее совещание, и, убедившись, что соседа требование правое, что он свою бабу требовать назад во всякое время и по всем законам может, помещица решилась стараться только об одном: склонить соседа к миру, хотя бы и с большими уступками с ее стороны. Другое обстоятельство: Болотова свихнула себе ногу оттого, что очень скоро побежала и как-то второпях неловко повернула ногу при вести о приезде в дом ее брата, который известен был крутым своим нравом. И эта столь боязливая и нерешительная женщина находила, однако же, силы собственноручно наказывать сына. «Нередко случалось, – говорит Болотов (стр. 105), – что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать и иногда продолжала тазанье таковое с целый час времени». Как она обращалась с своими людьми, Болотов не упоминает; но об этом можно догадываться из его же слов, что «ее легко было подвигнуть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ее воле». Подобных лиц и случаев можно было бы привести множество из разных сочинений, относящихся к то-

гдашнему быту; но предмет этот так общеизвестен, что распространяться о нем, кажется, нет надобности.

Таким воспитанием поддерживалось, конечно, продолжение старого порядка и в следующих поколениях, и, таким образом, прогресс нравственных понятий был весьма сомнителен. С течением времени исчезла мало-помалу прежняя грубость, самовольство выражалось уже в других, менее оскорбительных формах; но вовсе не выражаться оно не могло. О сочувствии к простому народу, о любви к нему, о понимании его нужд и интересов не могло быть и речи. Сильнейшее доказательство этого находим мы в матери Сережи, Софье Николаевне. Ей было легче других помещиков проникнуться любовью к бедным земледельцам. Ее дедушка был уральский казак, а мать из купеческого звания; преследуемая мачехой, она сама в годы нежной юности испытала всю тяжесть принудительной работы; ее природный ум был ясен и крепок; образование было выше, чем у других. Но и она в отношении к своим слугам и крестьянам не могла стать на ту высоту, ка-

кая ныне требуется от человека истинно просвещенного. Она не делала и не говорила ничего дурного прислуге, припоминает г. Аксаков; при всем том ее не любили. Без сомнения, прислуга видела в ней этот величавый, безмолвно подавляющий взгляд, с которым она относилась ко всему окружающему. Она запретила своим детям всякое сношение с прислугой в Багрове и Чурасове. Положим, что она была права, полагая, что багровская и чурасовская дворня ничему не может научить детей, кроме худого. Но ведь не запретила же она детям разговаривать с двоюродными их сестрицами, которые объяснили Сереже, что они беспрестанно лгут и во всем обманывают родителей, что без этого нельзя и пр. Тут, значит, кроме детской нравственности, были и другие соображения. Но это еще не важно; есть другие обстоятельства, более значительные. Узнав, что няня Сережи, Параша, сказала ему что-то нехорошее про тетюшек (которых Софья Николаевна сама не любила), мать его, хотя и знала, что все сказанное справедливо, тем не менее погрозила, если впредь что-нибудь подобное услышит, со-

слать Парашу в деревню за скотиной ходить, разлучивши с мужем. Мы оставляем в стороне внутреннее побуждение такой угрозы: это могло быть и неудовольствие на то, что прислуга смеет рассуждать о господах, и самолюбивое желание выставить себя ангелом, не позволяющим другим бранить врагов своих, и материнская боязнь за сына, чтобы он не проникся враждой к своим родным. Может быть, все это вместе участвовало в негодовании на Парашу. Но каково проявление этого негодования? «Я, дескать, сошлю тебя в дальнюю деревню за скотиной ходить, а не за сыном моим!» Не правда ли, что здесь довольно сильно обнаруживается, как трудно человеку не принять некоторых нехороших замашек, оградить себя от некоторых излишеств, к которым его положение дает ему повод и даже как будто некоторое право! Самое отстранение Софьи Николаевны от дел хозяйства и от крестьян происходит, очевидно, не от сознания ложности своего положения в отношении к ним, не от робкой застенчивости, думающей: что я им такое? Это вовсе не простодушие Сережи, который, увидев, как в Параши-

не мужики кланяются его отцу и приветствуют его, спрашивает с изумлением: «За что это они так нас любят? Что мы им сделали?» Нет, тут скрывалось совсем другое чувство. Когда Алексея Степаныча ввели во владение отцовским имением, он вместе с женой и детьми должен был, по обычаю, выйти к крестьянам. Но Софья Николаевна никак не хотела согласиться на это, несмотря на все упрашиванья мужа и старухи свекрови, которую она должна была теперь заменить в хозяйстве. Крестьяне были очень недовольны, что не видят молодой барыни, и Алексей Степаныч должен был им сказать, что она нездорова. Узнав об этом, она приняла выговаривать мужу за то, что он солгал, так что он принужден был ответить ей: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть; в чем же они перед тобой виноваты?» Потом на вопрос сына, отчего она не вышла к крестьянам, мать отвечала, что от этого бабушке и тетушке было бы грустно. «Притом же я терпеть не могу... ну, да ты еще мал, и понять меня не можешь». Последние слова заставили сына долго ломать голову над тем,

чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что их так любят? (стр. 263). Предположения мальчика были справедливы только отчасти: скорее нужно думать, что Софья Николаевна, не терпевшая всякой лжи, не могла терпеть народных изъявлений восторга и любви от людей, для которых она ничего не сделала, которых не знала и с которыми нимало не могла симпатизировать. Нам грустно за искажение естественных человеческих отношений, когда мы думаем обо всех, принимавших участие в этом случае. Жаль видеть бедную женщину, смутно сознающую ложность отношений, в которые она поставлена к неизвестным ей людям. Выйти ей и принять привет крестьян? Да чем же она его заслужила? Что она для них такое? И что же делать, когда она не может, не лицемера, показать им свое сочувствие, потому что в сердце у нее живого сочувствия к ним нет и не может быть? Не выйти? Но тут опять встречаются ее ложные отношения, от которых становится еще более грустно. Муж ее говорит: «Разве они виноваты перед тобой, что ты не хочешь быть их ба-

рыней?» То есть, по его понятию, барыня да-
ется мужикам как бы в награду за хорошее
поведение. Сами мужики едва ли не разделя-
ют этой мысли: они так смиренны, так при-
выкли к своему положению, что их желания
действительно не простираются далее господ-
ской милости. При таком положении дела
действительно все здравые понятия перепу-
тываются, даже в душе самой неиспорченной.
Маленький Сережа признается, что уже не
спрашивал в это время, за что их так любят
крестьяне: «Я убедился, что это непременно
так быть должно» (стр. 261).

Взгляд Софьи Николаевны на крестьян
объясняется аристократическим складом
всех ее убеждений и чувств. Она любит изящ-
ное, доброе и благородное, но мысль поискать
всего этого между крестьянами не приходит
ей в голову. Ей сильно препятствует здесь то
ложное положение, в котором стоит она к
этому народу. Она, конечно, не стоит на сте-
пени развития Простаковой, которая, узнав-
ши, что Палашка лежит больная и бредит,
воскликает с негодованием: «Лежит, бестия, –
бредит! как будто благородная!» Но все-таки и

Софья Николаевна не могла еще прийти до понятия о том благородстве, которое равно свойственно и помещику и крестьянину и которое нередко может быть в совершенно обратном отношении к общественному положению лица. Она желала бы вовсе не знать о существовании крестьян, которых положение вовсе ее не занимает. Проезжая через Парашино и видя крестьянские запасы хлеба, Алексей Степаныч, по чувству ли хозяина или просто по доброте сердца, восклицает: «Вот так крестьяне! молодцы! Сердце, глядя на них, радуется». Но Софья Николаевна не только не радуется, а даже не обращает внимания на слова мужа. Проезжая мимо хлебов, Багров опять жалеет, что не успеют мужички убраться; жена его и тут слушает его без малейшего участия. Маленький сын прибегает к ней с восторженными рассказами о том, что он видел на поле, как крестьяне пахут, сеют, косят: она не только без участия, но даже с неудовольствием слушает его рассказы... Сыну хочется идти вместе с отцом посмотреть на займку пруда: она его не пускает, потому что «нечего ему делать в толпе мужиков и не

для чего слушать их грубые и непристойные шуточки прибаутки и брань между собою». Муж напрасно старается уверить ее, что ничего подобного не бывает (стр. 365–366). В ее присутствии багровские дворовые девушки должны отказаться от своих песен и с сожалением говорят ее сыну: «Матушка ваша не любит наших деревенских песен» (стр. 391). Словом, полное отчуждение от простого быта крестьян, высокомерное пренебрежение к нему выражается почти в каждом поступке Софьи Николаевны, хотя она не позволяет себе никаких жестокостей и грубостей.

Отчего же такое отчуждение в ней именно? У нее должно быть все-таки больше развито чувство любви и уважения к человечеству, нежели, например, хоть в стариках Багровых; почему же они не чуждаются крестьян, а она чуждается? Если мы вдумаемся в сущность этого явления, то неизбежно должны, кажется, прийти к заключению, вовсе не отрадному. Какие точки соприкосновения с крестьянами видим мы в старинном быту помещиков? Во-первых – корысть. Хозяйственные распоряжения неизбежно сближали по-

мещика, живущего в деревне, с крестьянами, которые должны исполнять его распоряжения с соблюдением его выгод. Вторым обстоятельством, сближавшим помещиков с крестьянами, были тогда – равно низкая степень образованности тех и других. Нравы большинства помещиков того времени были грубы и невежественны, как мы уже видели из множества примеров; следовательно, нечего было опасаться, чтобы какое-нибудь жесткое выражение или грубый поступок не оскорбил нравственного чувства господина. Куролесовы, Багровы и тому подобные потому не боялись сближаться с своими крепостными людьми, что не видели в себе нравственной разницы с ними. Притом же, входя в хозяйственные сношения с крестьянами и даже пускаясь в интимности с домашней прислугой, они знали, что ни к чему себя этим не обязывают. Они знали, что все-таки эти люди находятся в их руках. Куролесов, кутивший с пьяной ватагой всяких сорванцов, тем не менее пробовал свои «кошечки» на том из них, кто ему не нравился. Дочь Багрова, Татьяна Степановна, ничуть не считала неловким

бить свою Матрешку, верную хранительницу ее заповедного амбара со всеми его секретами. Дело очень естественное: помощь, услуги, сообщничество этих людей – все считалось обязательным; они не могли и не смели не сделать так, как это им приказано; следовательно, принимая услуги их, поверяя им свои нужды, господин все-таки не терял своих прав: мог их наказывать, ссылать, сечь, сколько его душе угодно было. При таких понятиях отчего же было и не сходиться с крестьянами и дворовыми, отчего не сближаться с ними по наружности? Ведь существенное-то расстояние все-таки оставалось и не могло быть забыто ни тем, ни другим... Этих-то воззрений не могла, конечно, понять Софья Николаевна; а до других она не могла еще высвиться и потому остановилась на распутье – на пренебрежении к простому народу и к простому быту.

Вот в каком виде представляются нам, по запискам г. Аксакова, отношения к крестьянам в разных лицах семейства Багровых. Выписки из подлинных воспоминаний других современников того века и из тогдашних са-

тирических нападений могли бы совершенно подтвердить верность и обыкновенность всего, что описывает нам г. Аксаков. Надо признаться, что результаты этих фактов не слишком отрадны. Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное, представляются нам на каждом шагу в этом прошедшем, теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном.

«Но ведь не постоянно же крепостные отношения вторгались в деревенскую жизнь помещика, — заметит читатель. — Из очерка этих отношений мы всё еще не составляем себе определенного понятия о том, как именно проходила домашняя жизнь наших предков-помещиков, чем они занимались в деревне, вообще как проводили свое время. Может быть, здесь найдется и светлая сторона нравов того времени, может быть, семейные добродетели старинных помещиков и примирят нас с ними за те ложные и невежественные отношения, которые развивали они в своей жизни и которые, впрочем, и не зависели от

воли отдельных личностей...»

Мы должны сознаться, что требование читателя вполне справедливо и что даже, судя по заглавию статьи, читатель мог ожидать от нас не того, что мы изложили. Мы обещали очерк деревенской жизни старинных помещиков, а говорили об их отношениях к крестьянам и крепостной прислуге. Но для своего оправдания мы должны сказать, что такой оборот дела составляет не нашу вину. Что же делать, когда крепостные отношения проникали собою всю жизнь старинных помещиков, особенно живущих в деревнях, и обнаруживали свое влияние даже там, где всего менее можно было бы ожидать: в домашних забавах, в родственных отношениях, в воспитании детей помещиков. Из многих фактов, приведенных нами в продолжение статьи, можно видеть отчасти, как протекало время для старинных деревенских жителей, владевших крестьянами. Но нужно сознаться, что точного и определенного очерка жизни тогдашней не дает ни один из авторов, писавших мемуары о том времени. Должно быть, жизни, собственно, и не было в этой темной,

удушливой среде; было какое-то прозябание, не оставлявшее по себе никакого следа и потому не могшее быть уловленным воспоминаниями тех, кто старался изобразить этот быт. Подобно другим мемуарам, и записки г. Аксакова не представляют в этом отношении удовлетворительного очерка. Прочитав эту толстую книгу, невольно спрашиваешь себя: «Что же, однако, делали эти люди всю свою жизнь? Как они ее прожили? Чем занималась все время своего тридцатилетнего девичества – хоть тетушка Татьяна Степановна? Какое занятие было у самой матери Сережи?» На все это даются ответы очень смутные, отрывочные, неудовлетворительные. Для разъяснения дела может отчасти служить «Добрый день Степана Михайловича», описанный в «Семейной хронике». Он дает некоторое понятие о той праздности и лени, в которую погружено было целое семейство, вне хозяйственных забот, лежавших почти вполне на одном только главе дома. Просыпается Степан Михайлович рано, даже раньше слуг своих, которых будит в добрый день – не калиновым подожком, не пинком и не стулом, как в

другие дни, а просто – по-человечески. Только что он встал – и весь дом на ногах: вся семья почтительно идет к старику здороваться. Потом пьют чай, и затем отец отправляется на поле, где испытывает доброту пашни известным уже нам способом. С поля он возвращается прямо к обеду, который уже непременно должен быть готов к его возвращению. За стулом хозяина стоит во все время обеда Николка Рузан с целым пучком березы и обмахивает его от мух. В столовую собираются дворовые мальчишки и девчонки «за подачками»: они знают, что Степан Михайлович весел и будет обделять их кусками с своего стола. После обеда, бывшего всегда в полдень, все ложатся спать и спят часа четыре. Затем отец едет на мельницу и берет с собою всю семью. Оттуда возвращаются домой, и барин толкует со старостой, затем ужинает; после ужина старик прохлаждается несколько времени на крыльце, забавляясь дракою своих слуг, и наконец мирно ложится спать.

Вот вам целый день, один из лучших дней. Какая деятельность выпадает тут на долю Арины Васильевны и дочерей? И что делает

сам Степан Михайлович, ежели он не ходит в поле и не ездит на мельницу? – этого, право, мы не умеем сказать. Должно быть, ничего не делает. Подтверждение этой мысли находим мы в замечании г. Аксакова о Куролесове, который умел вести себя хорошо в первые два или три года, пока у него было дело на плечах, пока он занят был устройством имения. Но потом праздность одолела его; натура-то была у него широкая, а дела себе никакого не находила: и пустился Михаил Максимович в пьянство и буйство. Другие не пускались в такие художества, но прозябали без шума и следа, не думая ни о чем и ни в чем не пытая своих сил. Богач Д. занимался своим крепостным оркестром и заморскими чушками; Прасковья Ивановна – приемом гостей и картами; Арина Васильевна – пряжей козьего пуху, в промежутки между сном и процессом наполнения желудка. Экстраординарными занятиями были – уженье, охота, собирание грибов и ягод... А уж зимой, – постигнуть нельзя, что делали в деревне зимой... В зимнее время, вероятно, увеличивались те забавы и развлечения, образцы которых представили мы выше,

в выкидыванье артикула – Дарьей Васильевною вместо ружья. Тут же, конечно, помогали много и благодетельные карты, служившие то для игры в дурачки, то для гаданья. С течением времени, т. е. в поколении, следовавшем уже за Степаном Михайловичем, развивалась любовь к чтению; так, у Татьяны Степановны был уже свой любимый песенник... Чего же больше?

Если мы сделаем над собою усилие и вообразим себя на месте какой-нибудь Арины Васильевны или богача Д., с их понятиями, с их материальными средствами, со всею обстановкою их жизни, то мы не удивимся их праздности. Ведь всякая деятельность непременно чем-нибудь вызывается и поддерживается; всякий работает прежде всего потому, что сознает *потребность* труда, нравственную или физическую, чаще всего и ту и другую, нераздельно. Скажите, отчего же потребность труда могла бы родиться в Прасковье Ивановне или в богаче Д.? Что им была за надобность работать?.. С незапамятных времен, поколение за поколением, приходят люди-счастливицы на готовое. Кто-то прежде их,

для них неведомо, приготовил все это, пожил, умер, оставил другим, другие третьим. Наконец доходит до последних; им дают состояние и говорят: «Пользуйтесь! тут есть неистощимый капитал, который может давать столько процентов, сколько вы захотите, не выходя за пределы человеческой возможности. Вам ничего не нужно для того, чтобы пользоваться этим капиталом и процентами; довольно того, что я вам вручаю его». И неужели от счастливца, получающего этот клад, можно ожидать, что он от него откажется и скажет: «Нет, я лучше хочу сам трудиться, сам приобретать себе хлеб свой»? Нет, только Геркулес способен был к такому самоотвержению, когда его встретили с своими предложениями Нега и Труд. Зато Геркулес и относится к области мифологии. Люди исторических времен поступают уже не так. В этом отношении свойство действительных людей изображает нам рассказ Данилова о своем зяте Астафьеве. Астафьев этот служил в полку; но потом, получивши богатое наследство, неприлежно стал служить и наконец выпросился в отпуск, так как в то время отставки получить нельзя было.

При этом случае он нашел *милостивца* в полковом секретаре, который каждый год вы­правлял ему отпуск за малые деревенские го­стинцы: «душек двенадцать мужеска пола, с женами и детьми», с тем чтобы они были вы­ведены, куда было им назначено (Дан., стр. 34). Вот это очень понятно и очень близко к естественным наклонностям большинства человек!..

Грустно становится, когда раздумываешь­ся об этих временах, которых остатки суще­ствовали еще так недавно. Но и тут, как везде, есть одна сторона отрадная, успокоивающая: это вид бодрого, свежего крестьянского насе­ления, твердо переносящего все испытания, без отчаянного уныния, но с постоянной на­деждой на милость божию и царскую. Много сил должно таиться в том народе, который не опустил­ся нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых, Д. и т. п.... Весело смотрел ма­ленький Сережа на дружную работу косцов и потом с восхищением рассказывал, как это хорошо – косить. Ему ответили, что смот­реть-то хорошо, а работа очень тяжела, и он

долго не мог помириться с мыслью, чтобы такая веселая и красивая работа могла быть тяжелой. В другой раз он видел жнитво, при котором на вопрос отца его: «Не тяжело ли?» – крестьяне отвечали: «Тяжеленько, да как же быть: рожь сильна, – прихватим вечера». Тут маленького Сережу поразили тяжело дышащие, согнутые над серпом крестьянки, обвязанные грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах работавших, и особенно плач грудного ребенка, который был тут же, в поле, с матерью, как бы приучаясь к этой «страде» крестьянской. Сережа с любопытством смотрел, как молодая женщина, воткнув серп в связанный ею сноп, подошла к ребенку и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя, а потом снова положила его в люльку и принялась жать с особенным усилием, чтобы наверстать потерянное время и не отстать в работе. «Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил, на солнечном зное, обхватило мою душу», – говорит г. Аксаков (стр. 61). Через несколько времени крестьянские работы да-

ли ему испытать еще новое чувство. Он увидел, как боронят землю крестьянские мальчишки, и сам захотел попробовать боронить. Мать сначала говорила ему, что это вздор, что это не его дело, но наконец согласилась на усиленные просьбы сына. Разумеется, оказалось, что Сережа не только боронить не может, но даже ходить по вспаханной земле не умеет. «Крестьянский мальчик шел рядом со мной, – говорит он, – и смеялся. Мне было стыдно и досадно» (стр. 369).

Да, все эти поколения, прожившие свою жизнь даром, на счет других, – все они должны были бы почувствовать стыд, горький стыд, при виде самоотверженного, бескорыстного труда своих крестьян. Они должны бы были вдохновиться примером этих людей и взяться за дело, с полным сознанием, что жизнь тунеядца презренна и что только труд дает право на наслаждение жизнью. А они не совестились присвоить себе это наслаждение, отнимая его у других. Горькое, тяжелое чувство сдавливает грудь при воспоминании о давно минувших несправедливостях и насилиях... Но радостно бьется сердце при мысли,

что мы уже пережили эти времена, что теперь блестит уже новый день, что грядущие поколения ожидает не принужденный труд без вознаграждения, а свободная, живая деятельность, полная радостных надежд на собрание плодов, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посеяно. Скорее же прочь все остатки отживших свое время предрассудков! Своекорыстные расчеты и привычная лень должны умолкнуть пред величием общего начинания ко благу человечества. Голос правды, голос любви призывает: не время оставаться в прежней праздности и апатии. Пусть воспоминания того поколения, которое возрастает теперь, представят наше общество в лучшем свете, нежели в каком являются пред нами, в воспоминаниях правдивых современников, люди конца прошедшего столетия!..

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1858, № 3, отд: II, с. 1–29, без подписи. Вошла в изд. 1862 г.

Внутренняя тема статьи, написанной на материале автобиографической повести С. Т. Аксакова, – крепостное право. Появившись вскоре после разрешения обсуждать эту тему в печати (разрешения весьма относительного, что сказалось и на цензурной истории данной статьи, в которой был сделан ряд крупных и мелких купюр; см.: II, 538–540), статья Добролюбова была одной из первых попыток открыто осмыслить явление крепостничества и произнести ему приговор в то время, когда вопрос об отмене крепостного права был еще далек от своего разрешения и, осуждаемое в передовых кругах, оно для многих оставалось естественным и нормальным состоянием. Статья показывает, что своекорыстие и произвол в отношениях с крестьянами определяются не личными качествами от-

дельных помещиков (жестокостью, невежеством), а всем строем жизни, системой общественных отношений. Сами пороки помещиков есть пороки целого сословия, развращенного праздностью и бесконтрольной властью над крепостными. Следуя «системному» подходу к рассматриваемому явлению, Добролюбов проследил всеобъемлющий характер крепостных отношений, вносящих произвол и раболепие и во взаимоотношения внутри господствующего класса, в его семейную жизнь.

Будучи одним из ранних (вслед за «Губернскими очерками») образцов «реальной критики» Добролюбова, статья отличается в этом плане некоторыми особенностями, обусловленными противоречивым отношением критика к повести С. Т. Аксакова. С одной стороны, он видит ее правдивость, с другой – не может не воспринимать творчество этого писателя, с его объективно-созерцательным взглядом на мир, как явление идейно далекое. Тем более что в этот момент оно активно использовалось частью критики (см. примеч. 2 и 3) как аргумент в споре с «отрицательным направлением» в литературе. Поэтому в данном

случае Добролюбов не просто берет произведение писателя как материал для социологического анализа явлений действительности, но определенным образом переосмысляет этот материал, извлекает из него выводы, которые хотя и не противоречат содержанию книги, однако, скорее всего, не были предусмотрены авторским замыслом. Как бы взрывая аксаковскую объективность, сознательно нарушая равновесие его акцентов, он заставляет характеры и эпизоды книги «работать» на свою публицистическую идею.

Новизна критического метода Добролюбова вместе с некоторыми издержками его применения в рассматриваемой статье (одностороннее подчеркивание «мемуарного» характера книги Аксакова, демонстративный отказ принимать во внимание ее поэтический мир), а также – под покровом иронии – ощущаемая двойственность позиции критика по отношению к данному материалу послужили причиной того, что, судя по немногим известным откликам, статья не была достаточно понята современниками. Товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту А. П.

Златовратский увидел в ней панегирик Аксакову и отказ критика от прежних убеждений. С другой стороны, Н. Г. Чернышевский, отводя эти обвинения, находил в статье «самое полное, самое едкое» «осмеяние похвал уму и таланту С. Аксакова» (Материалы, с. 439), что было явным преувеличением. Пожалуй, рельефнее всего смысл и характер статьи выступил в недоброжелательном освещении С. П. Шевырева: «Критик... воспользовался новою книгою автора, чтобы извлечь из нее новые обвинительные пункты против старой русской жизни, и нашел материал порядочный, доказав тем, как он совершенно не понимает духа произведений писателя, которым для своих целей пользуется», — хотя осуждение Добролюбовым крепостного строя в целом было истолковано им как стремление превознести современность за счет «старого времени» (*РВ*, 1858, № 2, с. 74).

К произведениям Аксакова Добролюбов вернулся еще раз в рецензии на «Разные сочинения С. Аксакова» (наст. изд., т. 2).

Сноски

1

Мы называем «Детские годы» воспоминаниями г. Аксакова, несмотря на то, что он сам прикрылся здесь именем Багрова, от лица которого вел «Семейную хронику». Не понимая, к чему может служить дальнейшее удержание псевдонима, раскрытого уже самим автором, мы не считаем нескромностью называть здесь С. Т. Аксакова собственным именем. Мы, конечно, не осмелились бы сделать этого, если бы перед нами не было «Воспоминаний» г. Аксакова, изданных им два года тому назад от своего имени и служащих непосредственным продолжением «Детских годов». Последняя глава «Детских годов» оканчивается тем, что родители Багрова, Алексей Степанович и Софья Алексеевна, отправляются вместе с своим сыном Сережей в Казань, помолиться тамошним чудотворцам, из села Чурасова, Симбирской губернии, где они гостили у тетушки, Прасковьи Ивановны. С ними отправилась

Параша, нянька Сережи, а младший брат и сестра его остались в Чурасове. Это было в январе месяце. «Я поехал, – говорит Сережа Багров, – не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни...» При этом Аксаков замечает: «Здесь прекращается повествование Багрова-внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству». Эти самые рассказы, относящиеся к отрочеству, находим мы в «Воспоминаниях» самого г. Аксакова, которые начинаются таким образом: «В середине зимы 1799 года мы приехали в губернский город К. Мне было восемь лет... Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии, в богатом селе Чуфарове, у двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследства... Отец и мать ездили в собор помолиться и еще куда-то, по своим делам, но меня не брали с собою, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но после опять уехали; утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая

болтовню приехавшей с нами женщины, Параша». Уже одного этого начала достаточно было бы для убеждения внимательного читателя в тождестве Аксакова и Багрова. Но далее, в продолжении собственных воспоминаний г. Аксакова, беспрестанно попадаются такие вещи, которые наконец уничтожают всякое сомнение в голове самого недогадливого читателя. Село Багрово, писанное в «Детских годах», – совершенно то же, что и Аксакове в «Воспоминаниях»: и в том и в другом селе – тот же Бугуруслан, те же Антошкины мостки, Мордовский овраг, те же слуги – Никагор Танайченок, Иван Мазан, – тот же дядька Ефрем Евсеич, та же ключница Палагея с тою же сказкою об «аленьком цветочке»; в окрестностях – те же села: Неклюдово и Мордовский Бугуруслан. Даже самые ничтожные подробности сходятся слишком близко, чтобы не заметить их тождества. Вот пример. В Багрове описывается маленький островок на Бугуруслане таким образом: «Там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров

посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада... На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью, на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение... Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника» («Детские годы», стр. 375–377). А вот описание подобного же островка уже не в Багрове, а в Аксакове: «Это было любимое место моей тетки Евгении Степановны, все засаженное по берегу реки березами и пересеченное посередине липовой аллеей... Евгения Степановна хотя не получила никакого воспитания, как и все ее сестры, но имела в душе какое-то влечение к образованности и любовь к природе. У ней водились кое-какие книжечки: старинные романы (вероятно, доставленные ей братом) и театральные пьески. Тетка любила читать книжку на острове и удить рыбку в глубокой Старице. На многих березах вырезала она свое имя и числа раз-

ных годов и месяцев, даже какие-то стишки из песенника» («Сем. хр.» и «Восп.», стр. 236). Примеров такого сходства всего багровского с аксаковским мы могли бы найти очень много; но полагаем, довольно и одного для полного убеждения, что под именем Багрова С. Т. Аксаков рассказывает свои собственные воспоминания. Мы особенно настаиваем на этом тождестве именно потому, что хотим рассматривать не художественную, а фактическую сторону «Детских годов». Как бы факты ни были согласны с самою природою вещей, как бы рельефно и осязательно ни были они представлены, но все же то, что случилось с неизвестным нам мифическим Багровым, никогда не может иметь такого реального, исторического значения, как то, о чем рассказывает нам как очевидец С. Т. Аксаков. Его воспоминаниями мы будем пользоваться как мемуарами, заключающими в себе действительно случившиеся события, без всякой примеси поэтического вымысла. Вот почему постарались мы прежде всего обратить внимание на тождество Багрова с автором «Воспоминаний», тождество, уже раскрытое, но не объяс-

ненное прямо самим автором. Сделавши эти необходимые замечания, мы уже, нисколько не стесняясь, будем употреблять имя г. Аксакова вместо вымышленного имени Багрова, — где это будет нужно.

[^^^]

2

Чтобы не делать длинных выписок, мы ограничимся здесь, для подтверждения своих слов, тем, что выпишем из «Детских годов» изображение того, как встречают молодых Багровых каждый раз, как они приезжают в это село.

(Стр. 77.) «Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали...»

(Стр. 107.) «Двери были растворены настежь; в сенях уже стояли бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в окошке мелькнул образ

моей матери, – и с этой минуты я ничего не помню...»

(Стр. 202.) «Нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце: обе плакали навзрыд...»

(Стр. 256.) «Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать».

(Стр. 327.) «Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать...» и пр.

(Стр. 450.) «Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок собрались у крыльца. Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обниманья и целованья...»

Для образца того, с какою подробностью автор описывает все самые мелочные обстоятельства своей детской жизни, приведем здесь описание приготовления миндального пирожного.

(Стр. 118–119.) «Миндальное пирожное всегда приготавливала она сама (мать Багрова), и смотреть на это приготoвление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготавлилось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то шапки или звезды; все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось

уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку выбежала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к гостям».

[^^^]

4

Об этих кошках Куролесов говорил: «Не люблю палок и кнутьев; что в них? Как раз убьешь человека. То ли дело – кошечка: и больно и не опасно». Несмотря на то, он сек ими так, что жизнь наказанных людей спасали только, завертывая их в теплые, только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных... Кошками назывались у Куролесова «ременные плети, оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи, с узлами на конце каждого хвоста». «В Порошине, – прибавляет Аксаков, – долго хранились в кладовой, ра-

зумеется, без употребления, эти отвратительные орудия, и я сам их видел».

[^^^]

5

Не следует, впрочем, думать, чтобы «Живописец» был уж очень распространен, при своих пяти изданиях; в те времена книги, на расход которых сильно рассчитывали, печатались в числе двухсот экземпляров, о чем упоминает сам Новиков. От этого малого круга действия сатира Новикова, несмотря на свою живость и смелость, мало имела влияния. Она могла поддерживаться только покровительством государыни, служа как бы отголоском ее просвещенных мнений и намерений. Но как скоро Новиков лишился этой поддержки, и сатира его не могла удержаться в своем независимом твердом положении: она скоро измельчала. Впрочем, силы у нее не могло быть и в цветущее ее время, и к ней справедливо приложить то, что писал к «Живописцу» один раздраженный приказный (стр. 109): «Мне кажется, брат, что ты похож на постельную же-

ны моей собачку, которая брешет на всех и никого не кусает, а это называется брехать на ветер. По-нашему, коли брехнуть, так уж и укусить, да и так укусить, чтобы больно да и больно было. Да на это есть другие собаки. А постельным хотя и дана воля брехать на всех, только никто их не боится».

[^^^]

6

См. разбор сочинения кн. Щербатова, написанный С. В. Ешевским и помещенный в «Атенее», 1858, № 3. Статья эта, и особенно выписки из Щербатова, сделанные в ней, чрезвычайно любопытны для объяснения многих явлений в государственной деятельности России прошлого века.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Добролюбов имеет в виду отклики на изд.: Семейная хроника и воспоминания. М., 1856 (см.: Межов В. И. Сергей Тимофеевич Аксаков. Библиографический указатель. СПб., 1888, с. 11–13). Цитаты в тексте приводятся по этому изданию.

[^^^]

2

Примерами могут служить речь П. И. Мельникова-Печерского на торжественном обеде 5 ноября 1857 г. в честь 50-летия Казанского университета, в которой С. Т. Аксаков был назван «первым русским писателем», и статья Н. П. Гилярова-Платонова о «Семейной хронике» (*РБ*, 1857, № 1), где Аксаков противопоставляется всей русской литературе как «художник в высшем смысле этого слова», чье «воззрение чище, выше и шире, нежели какое на-

ходим мы вообще у современных писателей» (с. 96).

[^^^]

3

Добролюбов имеет в виду примечание К. С. Аксакова в его статье «Обозрение современной литературы»: «Сочинения С. Т. Аксакова стоят совершенным особняком в литературе нашей», они «требуют особого определения, особой оценки и имеют, свое особое значение среди нашей литературы» (РБ, 1857, № 1, отд. IV, с. 3). Мнение это было связано с тем, что, как считали славянофилы, С. Т. Аксаков был первым русским писателем, который взглянул на русскую жизнь «с положительной, а не с отрицательной точки зрения» (Хомяков А. С. Сергей Тимофеевич Аксаков. – РБ, 1859, № 3, с. VII).

[^^^]

Бывшие студенты Казанского университета в приглашении, адресованном С. Т. Аксакову, просили его как студента первого выпуска и уважаемого писателя занять почетное первое место на торжественном обеде в честь 50-летнего юбилея университета (см.: Берлянд Б. Аксаков Сергей Тимофеевич. – В кн.; Жизнь замечательных людей в Казани, вып. 2. Казань, 1940, с. 166–167).

[^^^]

5

Рецензию Добролюбова на «Сборник, издаваемый студентами С.-Петербургского университета» (вып. 1, СПб., 1857) – см.: II, 93–99.

[^^^]

6

Имеется в виду «Письмо петербургского студента» в славянофильском еженедельнике «Молва» (1857, № 9, 8 июня).

[^^^]

«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738–1793» – ценный мемуарный источник по истории, культуре, быту XVIII в. Добролюбов имеет в виду частичную публикацию книги в «Отечественных записках» (1850, № 4–10; 1851, № 1, 2, 4, 5); полностью – в приложении к журналу «Русская старина» 1870–1873.

[^^^]

Добролюбов дает эту заведомо идеализированную (с элементом скрытой иронии) картину, чтобы провести статью через цензуру, которой было предписано (циркуляром от 16 января 1858 г.) «не позволять печатать» статьи, где «помещаются события или суждения, могущие возбудить крестьян против помещиков» (Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры. 1700–1863. СПб., 1892, с. 420).

[^^^]

9

По-видимому, речь идет о книге К. Пауловича «Замечания об Италии, преимущественно о Риме» (Харьков, 1856). Подобное высказывание содержится на с. 40–41. Из посвящения видно, что автор – действительный статский советник (чин IV класса).

[^^^]

10

Речь идет о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

[^^^]

Помимо В. Г. Белинского (статья «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя» и знаменитое «Письмо К Гоголю»), с критикой этой книги выступили Н. Ф. Павлов (Московские ведомости, 1847, №№ 28, 38, 46–6 и 29 марта, 17 апреля), Э. И. Губер (Санкт-Петербургские ведомости, 1847, № 35, 17 февраля); отрицательные отзывы появились также в журналах «Финский вестник» (1847, № 2) и «Отечественные записки» (1847, № 2).

[^^^]

12

О журналах Н. И. Новикова см. примеч. 6 к статье «Собеседник любителей российского слова» (с. 785 наст. т.). Преследования Новикова начались в середине 1780-х гг., а в 1792 г. его без суда заключили в Шлиссельбургскую крепость.

[^^^]

13

Об «Оде к Фелице» см. примеч. 76 к статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (наст. т., с. 818). В оде «Властителям и судиям» (1780–1787), представляющей собой переложение 81-го псалма, поэт обвиняет «царей» в покровительстве торжествующему в мире злу и призывает на них божью кару. При первой попытке опубликовать оду в журнале «Санкт-Петербургский вестник» в 1780 г. она не была пропущена цензурой и увидела свет лишь в 1787 г. (в журнале «Зеркало света»), а впоследствии ода послу-

жила причиной того, что собрание сочинений, в которое поэт включил ее, не было разрешено к печати.

[^^^]

14

В 1855 г. в бумагах М. М. Щербатова была найдена неопубликованная записка «О повреждении нравов в России» (1786–1789), в которой автор сурово осуждает пороки современного ему общества, противопоставляя ему идеализированную допетровскую Русь. Полностью была издана А. И. Герценом в Вольной русской типографии в Лондоне в 1858 г.

[^^^]

«Наказ» (1767) – философско-юридическое сочинение Екатерины II, соединяющее в себе почти дословные заимствования из сочинений европейских просветителей («Дух законов» Ш. Л. Монтескье, «О преступлении и наказании» Ч. Веккариа и др.) с обоснованием необходимости самодержавия и крепостного права. Предназначалось в качестве руководства Комиссии для составления нового уложения.

[^^^]

[^^^]